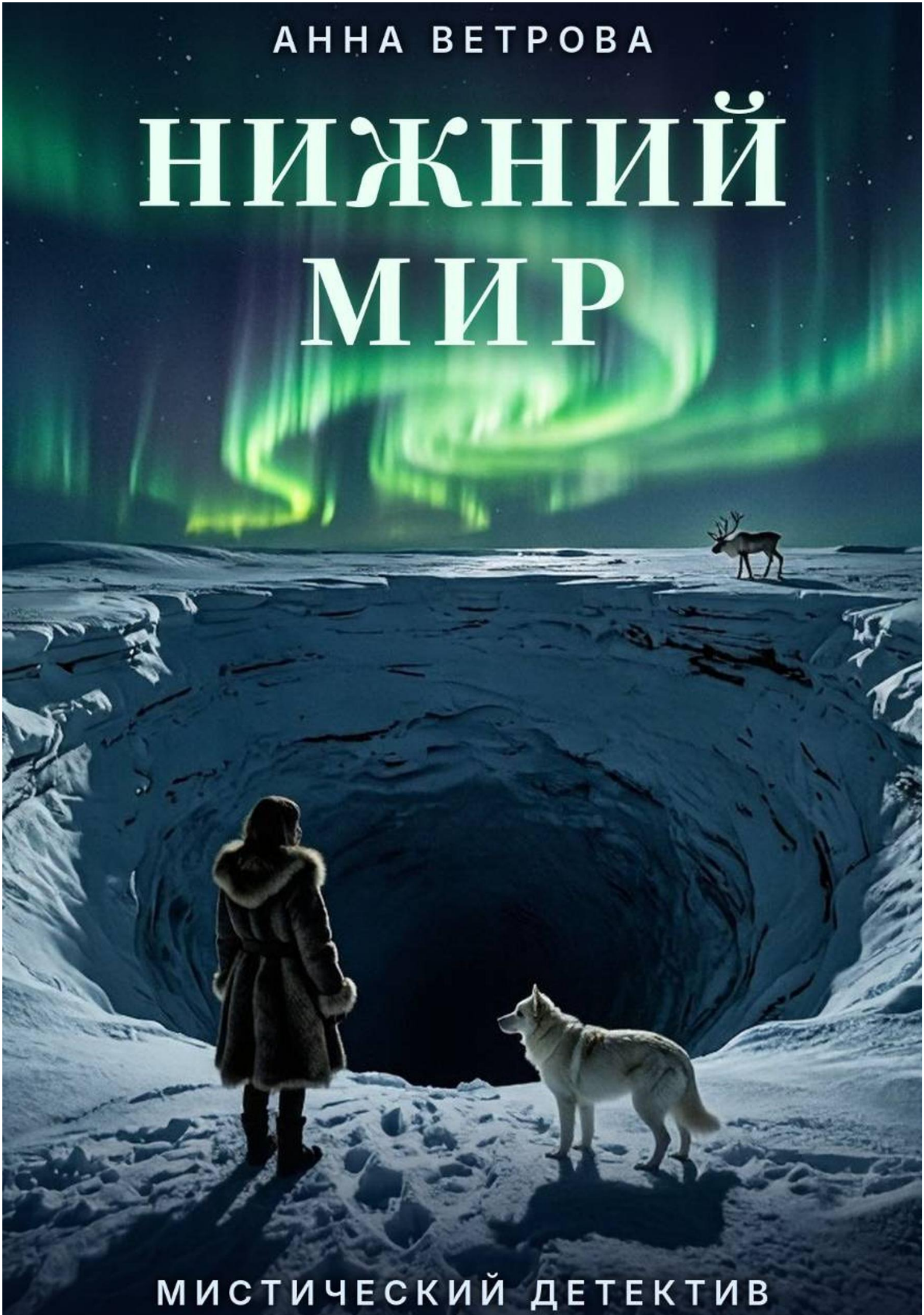
АННА ВЕТРОВА

НИЖНИЙ МИР



МИСТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Анна Ветрова

Нижний мир

«Автор»
2026

Ветрова А.

Нижний мир / А. Ветрова — «Автор», 2026

Летом в ямальской тундре земля выстрелила газом, и осталась воронка глубиной пятьдесят метров. Ненцы говорят, что это дверь в нижний мир, где живут Сихиртя — маленькие люди с белыми глазами. Месяц назад учёный, изучавший воронку, бесследно пропал на её краю. На его место прилетает Ника Сазонова — рыжая, упрямая и до обморока боящаяся высоты. В первую же ночь у края воронки находят мёртвого оленевода. Вокруг тела на свежем снегу только крошечные следы босых ног. И ни одного человеческого. Фотоловушка снимает призрак. В воронке по ночам горят огни. В посёлке бьёт бубен. А в комнате, запертой изнутри, умирает человек, который знал слишком много. Вместе с молчаливым участковым-ненцем и его собакой Ника должна понять, кто открыл дверь. И кто из неё вышел. Мистический детектив о Крайнем Севере, где у каждой легенды есть отпечатки пальцев.

© Ветрова А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 9
Глава 3 12
Глава 4 17
Глава 5 21
Глава 6 25
Конец ознакомительного фрагмента. 26

Анна Ветрова
Нижний мир

Глава 1

Вертолёт Ми-8 устроен так, чтобы пассажир с первой минуты понял: он здесь не главный. Главные здесь ящики. Ящики с тушёнкой, ящики с соляркой, ящики с надписью «Не кантовать», которые кантуют, мешки с почтой, два новых снегоходных двигателя в смазке и двенадцать коробок с мандаринами для школы-интерната. Пассажир сидит на откидной скамейке вдоль борта, между мандаринами и соляркой, в наушниках, которые не спасают от грохота, и думает о своей жизни.

Я думала о том, что мне двадцать восемь лет, что у меня кандидатская диссертация на тему «Криогенные процессы в многолетнемёрзлых породах Западного Ямала», что я рыжая, что я до обморока боюсь высоты и что лечу изучать дыру в земле глубиной пятьдесят метров. И что эту дыру мне досталось изучать потому, что человек, который изучал её до меня, в неё упал.

Меня зовут Вероника Сазонова. Друзья зовут меня Никой, коллеги – Вероникой Андреевной, а директор нашего института, Борис Ефимович Климов, – «Сазонова, не начинай». Я младший научный сотрудник Тюменского института криосферы Земли. Мы изучаем вечную мерзлоту: как она тает, как она дышит, как она иногда взрывается. Да, взрывается. Это не метафора.

В июле этого года в тундре на западе Ямала, в восемнадцати километрах к северу от фактории Нгарка-Сале, земля вздулась бугром, а потом выстрелила в небо газом, льдом и глиной, как пробка из бутылки шампанского. Осталась воронка: сорок метров в поперечнике, пятьдесят в глубину, с отвесными стенками из мёрзлого грунта и водой на дне. Седьмая по счёту на полуострове с тех пор, как их начали считать. Мы так её и называем – Седьмая. Ненцы называют её по-другому. Но об этом позже.

Изучать Седьмую поехал Игорь Валентинович Савельев, старший научный сотрудник, мой бывший руководитель практики, человек с рыжей бородой, оранжевой паркой и привычкой затачивать карандаши охотничьим ножом. В августе он съездил туда с экспедицией, в октябре вернулся один – ставить датчики на зиму. Двадцатого октября он поехал на снегоходе к воронке и не вернулся. На краю нашли снегоход. На уступе, в пятнадцати метрах ниже кромки, – его шапку и полевую сумку. Ночью была пурга. МЧС три дня пыталось спуститься и не смогло: стенки обваливались. Игоря Валентиновича признали погибшим. На поминках в институте директор плакал, жена Савельева Ирина не пришла.

А датчики остались. Термокосы в скважинах, метеостанция на кромке, сейсмодатчик, логгеры. Всё это пишет данные, которые никто не снимает. Через месяц аккумуляторы сядут, и кусок уникальной информации о том, как ведёт себя свежая воронка в первую зиму, пропадёт навсегда.

– Сазонова, – сказал мне Борис Ефимович две недели назад. – Ты единственная, кто знает эту аппаратуру. Ты её в лаборатории собирала. Летишь.

– Борис Ефимович, я боюсь высоты.

– Тебе не надо лезть в воронку. Тебе надо снять данные с метеостанции на кромке и поменять аккумуляторы. Две недели. Ты будешь жить в фактории, там есть свет, тепло и участковый.

– А если я упаду?

– Сазонова, не начинай.

И вот я лечу.

Вертолёт качнуло, мандарины поехали по полу, и командир, обернувшись из кабины, показал мне большой палец. Командира звали Андрей Пушкарёв. Высокий, широкоплечий, с седыми висками и усами, как у кавалериста. За полтора часа полёта он трижды выходил из кабины, чтобы проверить, жива ли я, и каждый раз угощал меня леденцами из кармана. Сейчас он показал пальцем вниз и прокричал что-то, чего я не расслышала.

Я прижалась лбом к круглому иллюминатору.

Внизу была тундра. Белая, ровная, бесконечная, как лист бумаги, на котором ещё ничего не написано. Только кое-где на ней чернели извилистые линии речек да светлели пятна замёрзших озёр. Был полдень, но солнце висело так низко над горизонтом, что казалось, будто оно сейчас сядет. Тени от редких бугров тянулись на сотни метров. А потом я увидела посёлок.

Нгарка-Сале с воздуха похож на горсть домино, рассыпанных по снегу. Два десятка деревянных домов, обшитых крашеной вагонкой, длинное здание школы-интерната, дизельная электростанция с трубой, из которой валил белый дым, склады, радиомачта, несколько балков-вагончиков на полозьях и вертолётная площадка, обозначенная по краям бочками из-под солярки. Посёлок стоял на высоком берегу реки, и река уходила от него на север, к горизонту, белой змеёй. Где-то там, в восемнадцати километрах, была Седьмая.

Вертолёт сел, подняв метель. Винты ещё вращались, когда к нему уже бежали люди. Пушкарёв открыл дверь, спустил трап, и в салон ворвался холод. Не мороз, к которому я привыкла в Тюмени. Холод. Тридцать два градуса, как я потом узнала, и лёгкий ветер с севера, от которого сразу заболели щёки.

– Добро пожаловать в Нгарка-Сале, Вероника Андреевна! – прокричал Пушкарёв. – Обратный рейс через две недели! Если погода даст!

– А если не даст?

– Тогда через три! – засмеялся он.

Первым к трапу подошёл мужчина в огромной волчьей шубе и меховой шапке, с тележкой на полозьях. Невысокий, плотный, с красным обветренным лицом и маленькими весёлыми глазками.

– Шергин, – представился он, протягивая мне руку в меховой рукавице. – Виктор Степанович. Хозяин фактории. Магазин, почта, скупка, гостиница – всё я. Вы от Климова? Савельевская смена? Добро пожаловать. Давайте ваши вещи, сейчас всё довезу.

Мои вещи – рюкзак, два ящика с аккумуляторами, ноутбук в противоударном кейсе и сумка с запасными логгерами – он погрузил на тележку за минуту, ловко, как грузчик. Потом стал принимать от Пушкарёва ящики. Они перекидывались короткими фразами, как люди, которые знают друг друга сто лет: «Мандарины в школу». – «Знаю». – «Почту Вале». – «Знаю». – «Рыбу заберу в среду». – «Знаю, Андрюха, знаю».

Последним из вертолёта вышел пассажир, которого я до этого не замечала: он сидел в самом конце салона, за ящиками с двигателями, и, кажется, спал всю дорогу. Невысокий, крепкий, в тёмно-синей форменной куртке с надписью «Полиция» на спине и в меховой ушанке с кокардой. Широкое смуглое лицо, тёмные узкие глаза, спокойные, как у человека, который ничему не удивляется. Ненец. Лет тридцати пяти.

Он спрыгнул с трапа, и в ту же секунду к нему с воем кинулась собака. Белая, пушистая, с одним чёрным ухом, похожая на маленькую лайку, только с более широкой мордой и хвостом бубликом. Она прыгнула ему на грудь, обхватила передними лапами и принялась вылизывать ему лицо, повизгивая от счастья.

– Пэвси, – сказал он, не пытаясь её отцепить. – Пэвси, хватит. Хватит, я сказал. Я всего на пять дней уезжал.

Собака не согласилась. Пять дней, судя по её лицу, были вечностью.

– Семён, – Шергин кивнул на меня. – Вот, учёная прилетела. На место Савельева. Вероника Андреевна. Принимай.

Полицейский посмотрел на меня поверх собачьей головы.

– Вануйто, – сказал он. – Семён. Участковый уполномоченный. – Помолчал и добавил: – По Нгарка-Сале и окрестностям.

– Большие окрестности? – спросила я, чтобы что-то сказать.

– Двенадцать тысяч квадратных километров, – ответил он. – Примерно как Ямайка. Только без пальм.

Я не поняла, шутит он или нет. Лицо у него было совершенно серьёзным. Пэвси спрыгнула с него на снег, подошла ко мне, обнюхала мои валенки, ватные штаны и рюкзак, а потом села и посмотрела мне в глаза. Долгим, оценивающим взглядом, как начальник отдела кадров.

– Она меня одобряет? – спросила я.

– Думает, – сказал Семён. – Зайдите ко мне сегодня в четыре. Участковый пункт – синий дом за школой. Надо вас зарегистрировать и объяснить правила.

– Какие правила?

– Тундровые, – сказал он и пошёл к посёлку, не оборачиваясь. Пэвси бросила на меня последний взгляд и побежала за ним.

Шергин отвёз мои вещи в гостевой балок – вагончик на полозьях, обшитый железом, с крыльцом и трубой, – и объяснил, как топить печку, где включается обогреватель и что делать, если ночью отключится дизельная («Не паниковать. Одеться и ждать. Её Петрович за час запускает»). Внутри было две комнатки: в одной – кровать, стол, полка и умывальник, в другой – кухонька с плиткой и холодильником, который мне показался совершенно лишним при минус тридцати двух за стенкой.

– Это Игоря Валентиновича комната была, – сказал Шергин, стоя в дверях. – Он здесь жил. В октябре. Дней десять. Вы уж извините, мы его вещи не все убрали. Жена его не приехала, сказала – выбросьте. А как выбросить? Учёные бумаги, тетради. Сложили на полку. Может, вам пригодятся.

На полке над столом стояли три толстые полевые тетради в клеёнчатых обложках, стопка распечаток и жестяная банка из-под чая, полная карандашей. Карандаши были заточены ножом – неровно, длинными гранёными срезами, как будто кто-то вырезал их из дерева заново. Я узнала эту заточку. Савельев точил так карандаши на всех наших совещаниях, и стружка летела во все стороны, а Борис Ефимович морщился.

– Спасибо, – сказала я. – Пригодятся.

Шергин помолчал, переминаясь в дверях.

– Вы, Вероника Андреевна, к воронке когда поедете?

– Завтра. Если погода позволит.

– Одна не ездите, – сказал он. – Семёна попросите. Или ненцев со стойбища. Там стойбище Яптунаев рядом, четыре километра. Они знают дорогу.

– Я с навигатором.

– Навигатор, – Шергин усмехнулся. – Игорь Валентинович тоже с навигатором ездил.

Он ушёл. Я села на кровать и посмотрела на полку с тетрадями. Человек жил здесь месяц назад. Спал на этой кровати. Сидел за этим столом. Точил карандаши. А потом поехал к дыре в земле и не вернулся.

Обедала я у Шергиных. Они жили в самом большом доме посёлка, рядом с магазином, двухэтажном, с резными наличниками, которые в тундре выглядели так же неожиданно, как пальма на Северном полюсе. Жена Шергина, Валентина Михайловна, оказалась фельдшером местного медпункта – полная, румяная, с толстой косой, уложенной короной, и таким громким голосом, что от него, кажется, звенели стёкла. Она накормила меня строганиной из муксуна, ухой и пирогами с брусникой и всё время подкладывала мне на тарелку ещё.

– Ешь, ешь, – говорила она. – Худенькая какая. Тут у нас худеньким нельзя. Мороз худеньких не любит.

– А Игоря Валентиновича вы хорошо знали? – спросила я.

Валентина Михайловна вздохнула и посмотрела на мужа.

– Хороший был мужик, – сказала она. – Весёлый. Байки рассказывал. Всё про свою мерзлоту. А как поехал тогда – я ему ещё говорила: не езди, пурга идёт. А он: «Валентина Михайловна, я на часок, только данные сниму». И вот…

– Сихиртя забрали, – сказал Шергин.

Он сказал это просто, буднично, как говорят «снегом замело» или «волки задрали».

– Кто? – переспросила я.

Шергин и Валентина переглянулись.

– Сихиртя, – повторил Шергин. – У ненцев есть такая легенда. Будто под землёй, под тундрой, живут маленькие люди. Сихиртя. Ростом с ребёнка. Глаза белые, как у рыбы. Днём сидят в сопках, а ночью выходят. Кто их увидит – тому беда. А воронка эта… Ненцы говорят, это они дверь открыли. В нижний мир. И кто к двери подойдёт – того заберут. Вот Савельева и забрали.

– Витя, – укоризненно сказала Валентина. – Девочку пугаешь.

– Я не пугаю. Я рассказываю. Пусть знает, с кем тут живёт. – Шергин подмигнул мне. – Вы, Вероника Андреевна, не верьте. Это сказки. Но ночью к воронке не ездите. На всякий случай.

– Я учёный, Виктор Степанович, – сказала я. – Я не верю в маленьких людей с белыми глазами. Я верю в метан, термокарст и избыточное поровое давление.

– Савельев тоже верил, – сказал Шергин. – В давление.

Он налил себе ещё чаю.

В четыре часа я пришла в синий дом за школой. Участковый пункт состоял из одной комнаты с железным сейфом, столом, двумя стульями, картой района во всю стену и раскладушкой в углу. На раскладушке спала Пэвси. Семён сидел за столом и писал что-то в толстом журнале.

Он объяснил мне правила. Их было пять.

Первое: никуда не ездить, не сообщив ему или Шергину, куда, на сколько и каким маршрутом.

Второе: всегда брать с собой спички в непромокаемой упаковке, нож, запас еды на сутки, лопату и сигнальную ракету.

Третье: если снегоход сломался в тундре – не уходить от него. Снегоход видно с вертолёта. Человека – нет.

Четвёртое: если началась пурга – копать яму в снегу и сидеть в ней, пока не кончится. Хоть сутки, хоть трое.

Пятое…

Он замолчал.

– Пятое? – спросила я.

Семён посмотрел на меня своими спокойными узкими глазами.

– Пятое – не ходить к воронке ночью, – сказал он.

– Вы тоже верите в Сихиртя?

– Я верю в то, что ночью в тундре темно, – сказал Семён. – А край воронки обваливается. Савельев тоже был опытный.

Он закрыл журнал.

– Завтра в одиннадцать я вас отвезу. Покажу дорогу. Сам. Одна вы туда первый раз не поедете.

Пэвси на раскладушке открыла один глаз, посмотрела на меня и закрыла снова. Видимо, решение было принято.

Глава 2

В пять часов вечера пошёл снег.

Я сидела в своём балке, разбирала аппаратуру и смотрела в окно, как с чёрного неба валятся крупные мохнатые хлопья. Они падали медленно, прямо, без ветра, и в свете фонаря над крыльцом казалось, что это не снег падает, а весь посёлок медленно поднимается вверх, в темноту. Красиво. Я знала, что на Ямале такой снег – редкость. Обычно здесь снег летит горизонтально и бьёт в лицо, как песок.

Я проверила аккумуляторы: все двенадцать держали заряд. Проверила логгеры. Включила ноутбук и открыла последний файл, который Савельев успел отправить в институт через спутник, восемнадцатого октября. Данные с термокос: температура грунта на разных глубинах вокруг воронки. Всё как положено. Мерзлота остывала после лета. Ничего необычного.

Потом я взяла с полки первую полевую тетрадь Савельева. Август, экспедиция. Записи шли плотно, мелким почерком с сильным наклоном влево, с сокращениями, понятными только ему: «Ст. З, гл. 12–15, линза льда, мощн. 2,3. Включ. – орг., кост.?» Схемы. Зарисовки стенок. Цифры. На полях – рисунки: олень, чум, какая-то рожица с рогами. Савельев на совещаниях рисовал рожицы всем подряд. Я думала – тем, кто ему не нравился. Мне, помню, нарисовал однажды лису в очках. Я тогда обиделась. Сейчас мне вдруг стало так его жалко, что я закрыла тетрадь.

В половине седьмого в дверь постучали. На крыльце стояла девочка лет шестнадцати в расшитой ягушке – меховой ненецкой шубе, – с двумя толстыми чёрными косами и румяными щеками. Снег лежал у неё на капюшоне, как сахар на пряничке.

– Вы учёная? – спросила она. – Вероника? Меня Неко зовут. Неко Яптунай. Меня Валентина Михайловна послала. Сказала, вам скучно одной, а в клубе сегодня кино. Пойдёмте.

– Какое кино?

– «Территория», – сказала Неко. – Про геологов. Его каждый год показывают. Все уже наизусть знают, но всё равно ходят. Больше-то некуда.

Клуб в Нгарка-Сале – это актовый зал школы-интерната. Двенадцать рядов стульев, сцена с бархатным занавесом цвета бордо, проектор, подвешенный к потолку, и экран, натянутый на раму. Когда мы с Неко пришли, без пяти семь, в зале было уже человек сорок: учителя, дети из интерната в одинаковых свитерах, рабочие дизельной, женщины с вязанием. Пахло мокрыми валенками, мандаринами и печеньем.

Неко провела меня во второй ряд, где сидели Шергины. Валентина Михайловна обняла меня, как будто мы были знакомы двадцать лет, и сунула мне в руки кулёк с орешками. Шергин кивнул. Рядом с ним сидел Пушкарёв – вертолёт из-за снегопада остался в посёлке до утра, и командир, похоже, был этому только рад.

– Вероника Андреевна! – обрадовался он. – Приобщаетесь к культуре?

– Приобщаюсь.

– «Территорию» смотрели? Нет? Обязательно! Это про нас. Про Север. Там всё правда. Почти.

Семён сидел в последнем ряду, у стены. Один. Пэвси лежала у его ног. Когда я обернулась, он едва заметно кивнул мне.

В семь часов погас свет, и пошли титры.

Я не очень помню фильм. Помню снег на экране и снег за окнами зала, огромные пространства, людей, которые ищут золото. Помню, что Неко шептала мне на ухо реплики героев на полсекунды раньше актёров. Помню, что Валентина Михайловна плакала в нужных местах, а Пушкарёв громко смеялся в ненужных.

В семь сорок Шергин наклонился к жене и что-то сказал ей на ухо. Встал и вышел, пригибаясь, чтобы не загораживать экран. Валентина Михайловна шепнула мне: «На склад пошёл. У него там приёмка, рыбу пересчитывает. Вечно у него дела».

Минут через десять в зал вошёл ещё один человек – высокий, черноволосый, с короткой бородкой, в красном комбинезоне с логотипом газовой компании. Он огляделся, увидел нас и, к моему удивлению, пошёл прямо ко мне, пробираясь между рядами.

– Вы Сазонова? – прошептал он, присаживаясь на свободный стул рядом с Неко. – Ахмедов. Марат. Геодезист с Ямбея. Мне сказали, вы прилетели. Я с Савельевым в августе работал, я его воронку дроном снимал. Можно я вам завтра покажу съёмку? У меня всё есть. Трёхмерная модель.

– Можно, – прошептала я.

– Я в шесть приехал, на снегоходе. Двенадцать километров, а по такому снегу – сорок минут. Ничего не видно.

– Тише! – сказала Валентина Михайловна. – Кино же!

Марат подмигнул мне и замолчал.

В половине девятого Валентина Михайловна вдруг посмотрела на телефон, охнула и стала собираться.

– Вызов, – шепнула она мне. – В медпункт. Бабка Хорольская опять с давлением. Я быстро.

Она ушла. Неко посмотрела ей вслед и почему-то хихикнула в кулак. Я не поняла почему.

– Пойдём подышим, – шепнула мне Неко. – Тут жарко. Скоро самое интересное начнётся, а я его уже десять раз видела.

Мы вышли на крыльцо школы. Снег кончился. Небо очистилось, и на нём высыпали звёзды – огромные, яркие, такие близкие, что, казалось, их можно достать рукой. Мороз сразу ударил в лицо. Я посмотрела на термометр у двери – минус тридцать один. Было восемь тридцать пять.

С юга, со стороны реки, донёсся рокот мотора, и над сугробами мелькнула фара. Снегоход шёл быстро, не сбавляя хода. Он пронёсся мимо школы по краю посёлка и свернул за медпункт – маленький белый домик с красным крестом над дверью. Мотор заглох. Свет фары погас.

– Кто это? – спросила я.

Неко пожала плечами и снова хихикнула.

– Кому надо, – сказала она. – Бабка Хорольская, наверное, на снегоходе приехала. Давление мерить.

Я не поняла шутки. Потом поняла. Но промолчала: это было не моё дело.

Мы стояли на крыльце, и Неко рассказывала мне про интернат: что она здесь учится с первого класса, что её дед – самый старый человек в стойбище Яптунай и самый мудрый, что брат её, Илко, пасёт оленей и что он «самый смелый в тундре, он эту воронку нашёл, он первый её увидел, летом». Что на каникулах она ездит в стойбище и живёт в чуме, и что там лучше, чем здесь, потому что в чуме можно спать на шкурах, а не на кровати.

– А ты не боишься Сихиртя? – спросила я. Мне хотелось узнать, что думают о легенде сами ненцы, а не Шергин.

Неко перестала улыбаться.

– Это не шутки, – сказала она серьёзно. – Дед говорит, Сихиртя давно ушли под землю. Ещё когда ненцы пришли сюда со своими оленями. Они не злые и не добрые. Они другие. Они живут своей жизнью. Но если открыть дверь… – она кивнула на север, туда, где за рекой, за восемнадцатью километрами темноты, была Седьмая, – то они выйдут. И начнут забирать. Дед ещё летом говорил: не подходите к этой яме. Это дверь. А Илко не послушал. Илко говорит, это просто газ. Илко в школе учился, он умный. А дед говорит – газ газом, а дверь дверью.

– А что ещё говорит дед?

Неко помолчала, глядя на звёзды.

– На прошлой неделе Илко приехал от стада странный. Белый весь. Сказал деду, что видел мёртвого. Я не знаю какого. Я в интернате была, мне мама по телефону рассказала. Дед после этого три ночи не спал, кормил сядаев. Это идолы наши. Он им жир мазал на губы. Чтобы защитили. – Она вздохнула. – А сегодня утром дед сказал по рации, что Сихиртя вышли. Он их во сне видел.

Мне стало холодно. По-настоящему холодно, не от мороза.

– Пойдём в зал, – сказала я.

Мы вернулись. На экране геологи шли по снегу и искали золото. Валентина Михайловна так и не вернулась.

В половине десятого Марат попрощался, сказал, что ему ехать двенадцать километров в темноте, а завтра в семь подъём, и ушёл. Фильм кончился без пяти десять. Включили свет. Люди потягивались, собирали вязание, будили задремавших детей. Пушкарёв пожал мне руку и сказал, что вылетает в восемь утра, если ветер не поднимется. Семён у выхода надевал шапку. Пэвси, увидев меня, подошла и ткнулась носом мне в ладонь. Мокрым холодным носом.

– Она вас приняла, – сказал Семён.

– Правда?

– Она нос даёт только своим.

Он проводил меня до балка – мне показалось, что не из вежливости, а потому что так положено: чужой человек в посёлке, ночь, мороз. Шли молча. Снег скрипел под валенками так громко, будто мы шли по крахмалу. У моего крыльца он остановился.

– Завтра в одиннадцать, – сказал он. – Я заеду. Оденьтесь теплее, чем сегодня. Там, у воронки, ветер.

– Семён, – сказала я. – Неко сказала, что её брат на прошлой неделе видел мёртвого. Вы что-нибудь об этом знаете?

Он помолчал.

– Нет, – сказал он. – Я пять дней был в Сеяхе. Илко хотел меня видеть, мне Шергин по рации передавал. Я завтра заеду в стойбище. После воронки.

– Как вы думаете, что он мог видеть?

– В тундре много чего можно увидеть, – сказал Семён. – Особенно ночью. Особенно если хочется увидеть. Спокойной ночи, Вероника Андреевна.

Он ушёл. Пэвси ушла с ним, но у поворота обернулась и посмотрела на меня.

Я растопила печку, легла и долго не могла уснуть. Балок потрескивал на морозе, как будто кто-то ходил по крыше. За стенкой гудела дизельная. Где-то вдалеке выла собака, протяжно и тоскливо, – может быть, Пэвси, может быть, другая. Я лежала и думала о маленьких людях с белыми глазами, которые живут под землёй и выходят ночью через дверь, которую открыл газ. И о мёртвом, которого видел Илко. И о Савельеве, который поехал «на часок» и не вернулся.

Потом я сказала себе: «Сазонова, не начинай» – голосом Бориса Ефимовича, и уснула.

Утром меня разбудил стук в дверь. Часы показывали десять сорок. Я проспала завтрак, будильник, всё на свете. Я накинула куртку прямо на пижаму и открыла.

На крыльце стоял Семён. В меховой малице, в шапке, с ружьём за плечом. Пэвси сидела у его ног. На улице было ещё темно – рассвет здесь в ноябре в половине одиннадцатого, а солнце показывается только к полудню, – и в свете фонаря его лицо казалось вырезанным из тёмного дерева.

– Одевайтесь, – сказал он. – Быстро. Едем.

– Что-то случилось?

– Позвонили со стойбища Яптунай. По рации. Полчаса назад. У воронки нашли Илко. Мёртвого.

Глава 3

Я никогда в жизни не одевалась так быстро. Термобельё, флисовый костюм, ватные штаны, свитер, пуховка, сверху – институтская ветровка-анорак, две пары носков, валенки с галошами, балаклава, шапка, капюшон, рукавицы поверх перчаток. Семь минут. Семён ждал на крыльце и смотрел на часы. Когда я вышла, он оглядел меня с головы до ног, поправил мне капюшон, затянул шнурок под подбородком и сказал:

– Садитесь сзади. Держитесь за меня. Не за ручку – за меня. Ручку оторвёт.

У крыльца стоял его снегоход – старый ярко-жёлтый «Буран» с длинной гусеницей и нартами-волокушей на прицепе. В нартах, на оленьей шкуре, уже сидела Пэвси, как пассажир первого класса. Я забралась на сиденье за Семёном, обхватила его за пояс, и мы поехали.

Восемнадцать километров по тундре на «Буране» – это не поездка. Это бокс. Тебя бьёт снизу каждым застругом, бросает в стороны на каждом повороте, в лицо летит снежная пыль из-под лыж, и ветер, которого в посёлке почти не было, здесь, на открытом месте, вцепляется в каждую щель между шапкой и балаклавой. Я уткнулась лицом в спину Семёна, в его меховую малицу, пахнущую дымом и оленьей шерстью, и молилась, чтобы это кончилось.

Светало. Небо на юге медленно розовело, как будто кто-то лил в чернила молоко. Тундра вокруг была синей, потом голубой, потом серой. Вдоль реки тянулись низкие кусты ивняка, засыпанные снегом по макушки. Потом река ушла влево, и вокруг не осталось ничего – только белая плоскость до горизонта, ровная, как стол, кое-где вздыбленная невысокими буграми.

Минут через тридцать пять Семён сбросил скорость и поднял руку.

Впереди, метрах в трёхстах, на ровном белом поле чернело пятно. Неровное, округлое, огромное. Вокруг него снег был грязно-серым, как будто его посыпали пеплом. Это был выброс – грунт, который взрыв газа разметал летом по тундре на сотню метров вокруг. Пятно было краем Седьмой.

Рядом с ним стояли нарты с упряжкой из четырёх оленей и маленькая фигура в малице.

Семён подъехал не прямо к воронке, а по широкой дуге, с востока, и остановился метрах в сорока от края. Заглушил мотор. Стало тихо. Так тихо, что я услышала, как олени фыркают и как скрипит снег под копытами.

– Дальше пешком, – сказал Семён. – Идите за мной. Шаг в шаг. Ни в сторону.

К нам подошёл человек в малице. Невысокий, коренастый ненец лет сорока пяти, с обветренным, почти чёрным от мороза лицом и редкими усами. Глаза у него были красными.

– Тэтэ, – сказал Семён. – Дядя Илко. Тэтэ, это учёная. С ней можно говорить.

Тэтэ посмотрел на меня, кивнул и заговорил с Семёном по-ненецки, быстро, с остановками, показывая рукой то на воронку, то на восток, в сторону стойбища. Семён слушал, не перебивая. Потом перевёл мне – коротко, как в рапорте:

– Вчера в половине восьмого вечера Илко поехал к стаду. Стадо паслось западнее воронки, в трёх километрах. Он всегда объезжал его вечером, проверял. Ехал мимо воронки, с востока. В девять сорок вечера упряжка пришла в стойбище без него. Хасава, дед, решил, что Илко остался у стада ночевать. Так бывает. Утром Илко не вернулся. Хасава послал Тэтэ. Тэтэ нашёл его здесь в девять сорок утра. Ничего не трогал. Близко не подходил. Посмотрел – и поехал звонить.

– Почему не подходил? – спросила я.

Семён посмотрел на меня.

– Потому что там следы, – сказал он. – Идите за мной.

Мы пошли. Семён впереди, я за ним, ступая точно в его следы, Пэвси – позади меня, тоже шаг в шаг, как будто её этому учили. Наверное, учили.

Сначала мы шли по целине – по свежему снегу, который выпал вчера вечером. Он лежал ровным пушистым слоем сантиметров в восемь толщиной, без единой вмятины. Потом Семён остановился и показал рукой вниз.

Поперёк нашего пути тянулся санный след. Две параллельные полосы от полозьев нарт, между ними – истоптанный копытами снег. След шёл с востока, со стороны стойбища, и тянулся к воронке. Метрах в двенадцати от края он круто поворачивал, делал петлю и уходил обратно на восток.

– Упряжка, – сказал Семён. – Илко ехал сюда. Здесь остановился. Видите? – Он показал на место, где полосы от полозьев стояли глубже, вдавленные. – Нарты стояли. Долго. Олени топтались. Потом пошли сами назад. Домой. Без него. Видите – петля широкая, неровная, нарты болтало. Никто не правил.

Он двинулся вдоль санного следа к месту, где стояли нарты. Я – за ним. От места остановки к воронке шла цепочка человеческих следов. Одна. Широкие отпечатки меховых кисов – ненецкой обуви из оленьих камусов, с мягкой подошвой. Шаги были ровными, неторопливыми.

– Его, – сказал Семён. – Илко. Сошёл с нарт и пошёл к краю. Спокойно. Не бежал.

Цепочка тянулась метров девять. А потом кончалась.

Там, где она кончалась, в двух метрах от края воронки, лежал Илко.

Он лежал на боку, лицом к воронке, подтянув колени, как будто прилёг отдохнуть и смотрит вниз, в темноту. На нём была малица из оленьей шкуры, капюшон сбился назад, чёрные волосы припорошило инеем. Лицо было спокойным, совсем мальчишеским, с редким пушком над верхней губой. Девятнадцать лет. Глаза были закрыты. Рука в меховой рукавице вытянута вперёд, к краю, будто он хотел до чего-то дотянуться.

А вокруг него были следы.

Маленькие. Босые. С пятью круглыми пальцами, с узкой пяткой, с высоким подъёмом. Каждая ступня – сантиметров пятнадцать длиной, не больше. Детская нога. Нет – не детская. У детей ступни пухлые, а эти были узкими и сухими, как у старичка. Следы кружили вокруг тела. Много. Десятки. Они обходили его по кругу, приближались, отступали, топтались у головы. А потом цепочкой, одна за другой, уходили к краю воронки. И обрывались на самой кромке. Как будто тот, кто их оставил, шагнул прямо в пустоту. Вниз. Туда, откуда пришёл.

Я стояла и смотрела. Пэвси за моей спиной тихо, тонко заскулила и прижалась к моим ногам.

– Сихиртя, – сказал Тэтэ за нашими спинами. Он остановился там, где кончался санный след, и дальше не шёл. – Сихиртя.

И сказал что-то ещё, по-ненецки, глухо, глядя в землю.

– Что он говорит? – шёпотом спросила я.

– Он говорит, что Хасава предупреждал, – сказал Семён. – Что дверь открыта. – Он помолчал и добавил тише: – И что это его вина. Что он должен был поехать с Илко вчера. Он собирался, но у него нарты сломались.

Семён присел на корточки у тела. Не касаясь, наклонился, посмотрел на голову Илко. Потом достал из кармана фонарик, хотя уже было светло, и посветил на затылок. Я увидела, как дрогнули его плечи. Он выключил фонарик.

– Его ударили, – сказал он. – Сзади. По голове. Слева. Что-то тяжёлое, с узким краем. Кровь замёрзла в волосах. Под инеем сразу не видно.

– Сихиртя ударили? – спросила я. Голос был хриплым.

Семён поднял на меня глаза. Спокойные, тёмные.

– Вероника Андреевна, вы учёная. Вы видите эти следы. Что вы видите?

Я заставила себя присесть рядом с ним. Посмотреть внимательно. Как на образец грунта. Как на керн. Не на следы Сихиртя – на отпечатки в снегу. Восемь сантиметров свежего, рыхлого, сухого снега. Отпечатки чёткие, с ясными краями. Пять пальцев. Подъём. Пятка.

Я смотрела долго. Минуту. Две. Потом достала телефон и стала снимать. Крупно. Каждый отпечаток. Сбоку, сверху, с линейкой – у меня в кармане всегда лежит складная линейка, профессиональная привычка. Семён молча ждал.

– Они одинаковые, – сказала я наконец.

– Как одинаковые?

– Совсем. Все левые ступни – одинаковые. Каждая. Посмотрите на пятку. Вот здесь, слева, у каждой левой – маленькая трещинка. Тонкая, косая. Как царапина. Вот на этом следе. И на этом. И на этом. На всех. И пальцы – они всегда в одном положении. Мизинец всегда чуть отставлен. Большой палец всегда прямой. А правые – все одинаковые между собой. У живой ноги так не бывает. Живая нога каждый раз ставится чуть-чуть по-другому. Пальцы то поджаты, то растопырены. Вес то на пятке, то на носке. А здесь – как будто… как будто штамп. Как печать. Кто-то взял вырезанную ступню и ставил её в снег. Левую. Правую. Левую. Правую.

Семён ничего не сказал. Он смотрел на меня очень внимательно, и в его тёмных глазах что-то медленно менялось. Будто он что-то про меня решал.

– Я знаю, – сказал он наконец. – Я увидел, когда подошёл. Ещё одно: глубина. Нога человека, даже маленького, давит в снег всем весом. Пятка глубже, носок мельче. Если бежит – наоборот. А здесь каждый след одинаковой глубины по всей длине. Ровно. Как будто давили сверху, рукой. Через палку.

– Значит, это не Сихиртя.

– Значит, кто-то очень хотел, чтобы мы подумали, что это Сихиртя, – сказал Семён. – А кто-то другой, – он кивнул на Тэтэ, который стоял неподвижно и смотрел на нас, – так и подумает. Весь посёлок так подумает. И все стойбища до Карского моря.

Он поднялся. Оглянулся по сторонам. Медленно, внимательно, будто читал книгу.

– Но тот, кто ставил эти штампы, – сказал он, – сам где-то стоял. Он был человеком. С ногами. С весом. Где его следы?

Я тоже огляделась. Вокруг тела, кроме маленьких босых отпечатков и цепочки следов Илко, не было ничего. Свежий снег лежал ровно, пушисто, нетронуто. С востока – санный след и следы Илко. С севера и юга – целина до горизонта. С запада…

С запада, метрах в пятнадцати, тундра кончалась ручьём. Вернее, не ручьём – полосой голого, синевато-серого льда шириной метров пять, который тянулся по ложбине мимо воронки и уходил на северо-запад. Снега на этом льду не было совсем: ветер выдул его начисто, отполировал лёд до блеска.

– Наледь, – сказал Семён. – Ручей Нядэй-Яха. Зимой вода выходит поверх льда и замерзает. Ветер снег сдувает. Видите – голый лёд.

– По голому льду следов не остаётся, – сказала я.

– Не остаётся.

Он пошёл к ручью. Не напрямую, а по дуге, огибая полосу снега между телом и льдом. Я пошла за ним. Он остановился на самом краю наледи и долго смотрел на эту полосу – пятнадцать метров ровного снега между Илко и голым льдом. Снег там был таким же свежим и белым, как везде. Только… Я пригляделась. Только чуть более гладким. Без той пушистой зернистости, которая бывает у только что выпавшего снега. Чуть-чуть блестящим. Как будто его погладили ладонью.

– Ветер вылизал, – сказала я неуверенно. – Здесь от наледи тянет.

– Может быть, – сказал Семён. Он снял с плеча ружьё, отдал мне подержать и вытащил из чехла на поясе длинный узкий нож. Присел на корточки и осторожно, очень медленно, стал

вводить лезвие в снег – вертикально, сантиметр за сантиметром. Посередине полосы. Потом в метре правее. Потом левее. Потом – в стороне от полосы, в нетронутой целине.

Он выпрямился.

– В целине нож идёт на восемь сантиметров легко. Потом – старый наст. Твёрдый. А здесь, на полосе, свежий снег сверху тонкий. Сантиметра три. А под ним – мягко. Как будто старый наст кто-то продавил. Ногами. Много раз. Туда и обратно. А сверху снег пригладили. Чем-то широким. Шкурой. Или лопатой.

Мы посмотрели друг на друга.

– Он пришёл по льду, – сказала я. – По наледи. Подошёл к Илко со спины. Ударил. Потом ставил свои штампы. Потом отступал к льду, пятясь, и заметал за собой следы. А потом ушёл по голому льду. Куда?

Семён посмотрел вдоль наледи на северо-запад. Синеватая полоса льда уходила по ложбине к горизонту, изгибаясь, как дорога.

– Куда угодно, – сказал он. – Нядэй-Яха тянется на двадцать километров. В неё впадают другие ручьи. Можно выйти к реке. Можно – к озёрам. А можно оставить снегоход в километре вниз по ручью, там, где наледь кончается, и уехать. Снегоход видно было бы отсюда. Вчера вечером. Если бы кто-то здесь стоял.

– Вчера вечером здесь стоял только Илко, – сказала я.

– Да.

Мы вернулись к телу. Тэтэ всё так же стоял у конца санного следа. Он что-то сказал Семёну. Тот ответил – коротко, твёрдо. Тэтэ покачал головой.

– Я сказал ему, что это сделал человек, – перевёл Семён. – Он не верит. Он говорит, человек следы оставляет. А Сихиртя – нет.

Семён достал из-за пазухи спутниковый телефон – толстый, с длинной антенной – и долго говорил с кем-то в Салехарде. Сухо, по делу: время, место, характер повреждений, погода. Потом убрал телефон.

– Следователь вылетит, как только будет борт, – сказал он. – Пушкарёв ушёл утром на Сабетту, вернётся послезавтра. Раньше никак. Тело заберём сейчас. В посёлок. В медпункте есть холодная комната. Тэтэ поможет.

– А следы? Снег пойдёт – и всё.

– Вы их сфотографировали.

– Сфотографировала.

– Значит, они есть, – сказал Семён.

Пока Семён и Тэтэ поднимали тело, заворачивали его в оленью шкуру и укладывали на нарты Тэтэ, я отошла в сторону, к метеостанции. Это была моя работа, и я цеплялась за неё, как утопающий за доску. Метеостанция стояла на западной кромке воронки, метрах в пяти от края, на трёх растяжках: алюминиевая тренога в человеческий рост, на ней – анемометр с чашечками, солнечная панель, засыпанная снегом, и пластиковые белые корпуса с датчиками. Я счистила снег с панели, открыла главный контейнер, подключила к логгеру свой ноутбук. Данные шли. Двадцать с лишним дней непрерывной записи: температура, влажность, ветер, давление. Савельевская аппаратура работала, как часы, хотя Савельева больше не было.

Я поменяла аккумулятор. Закрыла контейнер. И почему-то задержалась взглядом на корпусах датчиков. Их было три. Три белых пластиковых цилиндра на перекладине. А на схеме, которую я сама рисовала в лаборатории в июле, их было два: температура и влажность. Третий был лишним. Наверное, Лёша Кругов, аспирант, который ездил с Савельевым в августе, повесил что-то от себя. Лёша вечно ставил что-нибудь сверх плана, а потом забывал записать. Я сделала себе пометку в телефоне: «Позвонить Лёше, что за третий корпус». И забыла про неё на три дня.

Когда я вернулась, нарты с телом уже стояли наготове. Олени Тэтэ нервно переступали и косились на воронку. Тэтэ сел на передок нарт, взял в руки хорей – длинный шест, которым правят оленями, – и посмотрел на нас.

– Он поедет в посёлок за нами, – сказал Семён. – А потом в стойбище. Сказать Хасаве. Я сказал, что тоже приеду. Сегодня. Вы поедете со мной?

– Поеду, – сказала я.

Я подошла к краю воронки. Не к самому краю – Семён бы меня не пустил, – а метров на пять. Посмотрела вниз. Отвесные стенки из мёрзлой глины, серые, бурые, с прожилками льда, блестевшими на солнце, как стекло. Уступы, карнизы, нависающие козырьки. Где-то там, на одном из уступов, месяц назад нашли шапку Савельева. А глубже, на самом дне, в пятидесяти метрах подо мной, лежала тьма. Плотная, неподвижная, как вода. Солнце не доставало туда даже в полдень.

У меня закружилась голова. Я отступила на шаг. Потом ещё на один.

Пэвси подошла и села рядом со мной. Прижалась боком к моей ноге. Тёплая, живая, пахнущая псиной и снегом.

– Спасибо, – сказала я ей.

Она посмотрела на меня. Потом на воронку. И тихо, глухо заворчала. Не на меня. Туда, в темноту, вниз.

Глава 4

Тело Илко мы довезли до посёлка к двум часам дня. Тэтэ ехал за нами на оленях, и я всю дорогу оборачивалась, чтобы видеть его: маленькая чёрная фигурка на нартах, четыре оленя, бегущие ровной рысью, и длинный свёрток из оленьей шкуры, привязанный ремнями. Олени не отставали от снегохода. Я не знала, что олени умеют бегать так быстро.

В посёлке нас уже ждали. Новости в тундре разлетаются быстрее вертолётов: рация в стойбище, рация в фактории, спутниковые телефоны. У медпункта стояла толпа: человек тридцать, женщины в платках, мужчины в малицах и пуховиках, дети из интерната, которых никто не смог удержать в классах. Валентина Михайловна в белом халате поверх свитера распахнула дверь холодной комнаты – пристройки к медпункту без отопления, где хранили лекарства, которые нельзя держать в тепле, – и мужчины молча занесли туда свёрток.

Толпа не расходилась. Люди переговаривались вполголоса, по-русски и по-ненецки. Я услышала одно слово, которое повторяли снова и снова, переходя от одной группы к другой, как огонь по сухой траве. Сихиртя. Сихиртя. Сихиртя.

– Следы, говорят, вокруг, – шепнула за моей спиной какая-то женщина. – Маленькие. Босые. И в яму уходят.

– Тэтэ своими глазами видел.

– Это как с учёным тем. Тоже ведь у ямы пропал.

– Хасава летом говорил…

Из толпы вдруг вырвалась тоненькая фигурка в ягушке, с двумя чёрными косами. Неко. Она бросилась к двери холодной комнаты, но Валентина Михайловна перехватила её, обняла, прижала к себе. Неко не кричала. Она только билась в руках фельдшерицы, молча, страшно, как пойманная птица, а потом обмякла и уткнулась лицом в белый халат.

Я отвернулась. Семён стоял рядом со мной и смотрел на Неко. Лицо у него было каменным.

– Вы обещали ехать со мной в стойбище, – сказал он, не глядя на меня. – Через полчаса. Я заправлю снегоход. Пообедайте. Это надолго.

Я не смогла обедать. Я выпила чаю у себя в балке, стоя, обжигаясь, и смотрела в окно, как над тундрой гаснет короткий ноябрьский день. Солнце уже лежало на горизонте, небо из розового становилось сиреневым. В половине третьего Семён постучал в мою дверь. С ним была Неко – в ягушке, с заплаканным, распухшим лицом.

– Она поедет с нами, – сказал Семён. – К деду. Её надо туда. И деду надо, чтобы она была.

Неко села в нарты, рядом с Пэвси. Собака сразу легла ей на колени, тяжело, всем телом, и Неко обхватила её руками и уткнулась лицом в белую шерсть.

Стойбище Яптунай стояло в четырёх километрах к востоку от воронки, на сухом бугре над петлёй реки. Три чума – высокие конусы из шестов, обтянутые оленьими шкурами, – с дымками над верхушками. Вокруг них – нарты, десятки нарт, грузовые и ездовые, поставленные полукругом, как стена. Чуть в стороне – огромное, тёмное, шевелящееся пятно: стадо. Полторы тысячи оленей, сказал мне потом Семён. Оттуда доносился непрерывный глухой шум: стук копыт, хорканье, сопение, скрип снега. Будто дышало одно огромное животное.

Нас встретили собаки – целая стая, с лаем, – и люди. Женщины в расшитых ягушках вышли из чумов. Мужчины стояли молча. Неко выскочила из нарт и побежала к самому большому чуму. Из него ей навстречу вышла женщина – мать Неко и Илко, Семён сказал мне её имя, но я его не запомнила, – и они обнялись и стояли так, раскачиваясь, и из чума доносился тихий, тонкий, нечеловеческий звук, который я сначала приняла за ветер.

Это был плач.

– Хасава ждёт, – сказал Семён. – Пойдёмте. Снимите шапку в чуме. Не садитесь, пока не скажут куда. Не перешагивайте через вещи. Не трогайте ничего за очагом – это священная сторона. Если угостят – ешьте. Не отказывайтесь.

Внутри чум был огромным, больше, чем казался снаружи. В центре горел очаг – железная печка с трубой, уходившей в дымовое отверстие наверху. Пол был выстлан досками, на досках – оленьи шкуры. По краям – постели, свёрнутые одеяла, сундуки. Пахло дымом, мясом, кожей и чем-то ещё, сладковатым, незнакомым. За очагом, у дальней стенки, стоял низкий сундучок, накрытый расшитым полотенцем. На нём – несколько маленьких фигурок, деревянных и каменных, завёрнутых в лоскутки ткани и обрывки меха. Сядаи. Идолы. Я не стала их разглядывать. Мне показалось, что они разглядывают меня.

Хасава сидел у очага на шкуре, скрестив ноги. Очень маленький, очень старый, в выцветшей малице, с лицом, похожим на печёное яблоко, – морщина на морщине. Седые волосы, заплетённые в тонкую косичку. Глаза – две узкие тёмные щели, в которых блестел огонь. Ему было семьдесят восемь лет, сказал мне Семён. Он помнил, как в тундру пришли первые геологи. Он помнил, как в пятидесятых годах в стойбище приезжали люди в форме и забирали детей в интернат. Он помнил песни, которые никто больше не помнил.

Неко сидела рядом с ним, прижавшись к его плечу. Её мать стояла у входа.

Семён заговорил с Хасавой по-ненецки. Долго. Тихо. Старик слушал, глядя в огонь. Потом что-то ответил. Потом поднял глаза на меня.

– Он спрашивает, вы та, что пришла на место русского, которого забрали, – перевёл Семён.

– Да.

Хасава долго смотрел на меня. Потом сказал что-то длинное, медленное, нараспев, как будто читал стихи. Неко подняла голову и стала переводить – тихим, охрипшим от плача голосом:

– Дед говорит. Давно, когда земля была молодой, а люди ещё не пришли с оленями, в тундре жили Сихиртя. Маленькие, белоглазые. Они пасли диких оленей и мамонтов. Мамонтов называли «я-хора» – земляной олень. Сихиртя умели петь так, что земля открывалась. Потом пришли ненцы. Сихиртя не стали воевать. Они ушли в сопки. Под землю. Унесли с собой своих земляных оленей. Закрыли за собой двери. И сказали: кто откроет дверь – тот наш. Мы его заберём. Дед говорит: летом эта дверь открылась. Он слышал, как она открывалась. Ночью. Земля охнула, как человек. Он сказал Илко: не подходи. А Илко… – голос Неко дрогнул, – Илко сказал: дед, это газ. Нам в школе объясняли. Дед сказал: газ газом, а дверь дверью.

Хасава помолчал. Подложил полено в печь. Заговорил снова.

– Дед говорит, – продолжала Неко. – Неделю назад Илко поехал искать оленей. Три оленёнка отбились от стада и ушли на северо-запад. Илко ездил два дня. Вернулся без оленят, белый весь. Сказал деду: «Я видел мёртвого русского. Того, которого Сихиртя забрали. Он живой. Он ходит». Дед спросил: где? Илко сказал: «У старой буровой. Он был без шапки. С бородой. Я спрятался. Он меня не видел». Дед сказал: это не русский. Это то, что Сихиртя из него сделали. Они его отпустили, но он теперь их. Не подходи к нему. Не говори о нём. А Илко… Илко сказал, что поедет в посёлок, к Семёну. Расскажет полиции. Дед запретил. Они поругались. Сильно. Дед кричал. Илко кричал. – Неко всхлипнула. – Илко сказал: «Ты старый, ты ничего не понимаешь, это не духи, это человек». И ушёл к стаду. Это было позавчера. А вчера… вчера…

Она не договорила.

Я сидела на шкуре, и в чуме было жарко от печки, но меня било мелкой дрожью.

«Я видел мёртвого русского. Он живой. Он ходит».

– Какая старая буровая? – спросила я. – Где?

Семён перевёл. Хасава покачал головой и ответил коротко.

– Он не знает, – сказал Семён. – Илко не сказал. Сказал только «у старой буровой». – Он помолчал. – Вероника Андреевна, в этом районе старых буровых – пять. Может, шесть. Геологи здесь работали с шестидесятых по восьмидесятые. Везде бросили вышки, балки, бочки. Самая близкая – в девяти километрах на юг. Самая дальняя – в сорока на запад. Илко искал оленят на северо-западе. Там две. Одна у озера Ябто-То, «Тамбей-73», другая у Сеяхи, ещё дальше.

– Надо проверить обе.

– Надо, – согласился Семён. – Не сейчас. Сейчас ночь.

Хасава сказал ещё что-то. Тихо, глядя на Семёна.

– Он спрашивает, правда ли, что Илко убил человек, – перевёл Семён. И, не дожидаясь ответа, ответил старику сам, по-ненецки, медленно и твёрдо.

Хасава выслушал. Долго молчал. Потом сказал одно слово, которое я поняла без перевода. «Сихиртя». И отвернулся к огню.

– Он говорит, Сихиртя тоже бывают людьми, – тихо перевела Неко. – Когда хотят.

Перед тем как мы уехали, Семён ещё полчаса ходил по стойбищу. Говорил с мужчинами, с матерью Илко, с Тэтэ. Осматривал нарты Илко, которые вернулись ночью без хозяина: обычные ездовые нарты, на них – мешок с запасными тынзеями, термос, остывший и замёрзший, винтовка в чехле. Винтовка была на месте. Семён спросил что-то у матери Илко. Она покачала головой. Спросил у Тэтэ. Тот тоже покачал головой.

– Телефона нет, – сказал мне Семён, когда мы уже сели на снегоход. – У Илко был смартфон. Он с ним не расставался. Снимал оленей, снимал тундру, выкладывал в интернет, когда в посёлок приезжал. Мать говорит, вчера телефон был при нём. В кармане малицы. В нартах его нет. И на теле нет. Я проверял, когда мы его заворачивали.

– Его забрали.

– Его забрали, – сказал Семён. – Если Илко снимал оленей – он мог снимать и что-то другое. Неделю назад. У старой буровой.

– Мёртвого русского.

Семён ничего не ответил. Завёл мотор.

Неко осталась в стойбище, с дедом и матерью. Мы поехали назад вдвоём, с Пэвси в нартах, через тёмную тундру, под звёздами, которые высыпали так густо, что небо казалось белым. Было пять часов вечера и совершенно темно. Фара «Бурана» вырезала из темноты узкий жёлтый коридор, и в этом коридоре летели нам навстречу снежинки, поднятые ветром.

На полпути Семён вдруг сбросил скорость, остановился и заглушил мотор.

– Что? – спросила я.

– Смотрите, – сказал он и показал рукой на север.

Я посмотрела.

Далеко-далеко, на самом краю тёмной тундры, там, где должна была быть Седьмая, мерцал свет. Слабый, неровный, голубоватый. Он то вспыхивал, то гас, то снова вспыхивал. Как будто кто-то там, в темноте, у самой земли, махал фонариком. Или как будто под землёй горел огонь и пробивался наружу через щель.

– Это над воронкой? – прошептала я.

– Над ней, – сказал Семён. – Или в ней.

Мы смотрели. Свет мигнул ещё раз – и пропал. Тундра стала чёрной и пустой.

– Ненцы называют это огнями Сихиртя, – сказал Семён. – С октября их видят. Пастухи говорят. Шергин говорит. Я сам видел два раза. Думал – газ. Метан горит. Бывает на болотах.

– Бывает, – сказала я. – Блуждающие огни. Самовозгорание фосфина и метана. Но не зимой, Семён. Не при минус тридцати. Зимой болота замёрзшие. И это был не огонь. Огонь так не мигает. Это был… – я запнулась, – это был фонарь.

Семён долго молчал. Пэвси в нартах тихо заворчала, глядя на север.

– Поехали, – сказал он наконец. – Ночью туда нельзя. Завтра.

– Завтра там ничего не будет.

– Завтра будет светло, – сказал Семён. – А тот, кто там светит фонарём, вчера убил человека. Я не повезу вас ночью к человеку, который убивает.

Он завёл мотор. Мы поехали к посёлку. Я сидела, обхватив его за пояс, и смотрела через плечо на север, туда, где больше не было никакого света. Только темнота. И звёзды.

«Я видел мёртвого русского. Он живой. Он ходит».

В посёлке я заперла дверь балка на задвижку и на крючок, чего никогда не делала даже в Тюмени. Растопила печь. Достала с полки полевые тетради Савельева и положила их на стол. Открыла первую. Мелкий почерк с сильным наклоном влево. Схемы стенок воронки. «Ст. 3, гл. 12–15, линза льда, мощн. 2,3. Включ. – орг., кост.?»

Включения – органика, кости? Вопросительный знак.

Я долго смотрела на эту строчку. Потом на рисунок на полях: рожица с рогами. Я раньше думала, что это олень. Сейчас, при свете лампы, мне показалось, что это не рога. Это были бивни. Два длинных изогнутых бивня по обе стороны морды, загнутые вверх.

Мамонт. Я-хора. Земляной олень.

«Сихиртя пасли диких оленей и мамонтов, – сказал Хасава. – Унесли с собой своих земляных оленей. Под землю».

Глава 5

В среду утром в посёлок приехал Гайдамак.

Я услышала его раньше, чем увидела: со стороны реки донёсся рёв трёх снегоходов, идущих на полном газу. Не тарахтение «Бурана», а злой, высокий вой дорогих импортных машин. Я вышла на крыльцо. Три чёрных снегохода с оранжевыми полосами пронеслись по главной улице, разгоняя собак, и остановились у синего дома за школой. С переднего соскочил высокий, плотный мужчина в чёрном пуховике с капюшоном, отороченным мехом, и в чёрных очках-маске. Он сдёрнул маску. Рыжеватая борода, короткая, жёсткая. Широкое красное лицо. Светлые, почти белые брови.

– Вануйто! – крикнул он, не дожидаясь, пока двое его спутников заглушат моторы. – Вануйто, выходи!

Семён вышел на крыльцо участкового пункта. В рубашке, без куртки, с кружкой чая в руке. Пэвси вышла за ним и села у его ног.

– Гайдамак, – сказал он. – Доброе утро.

– Какое, на хрен, доброе! – Гайдамак взбежал на крыльцо. – У меня вся вахта на ушах стоит! Двести человек! Мне уже из Москвы звонили! Что у вас тут за Сихиртя? Какие следы? Мне повар сегодня утром заявил, что в тундру больше не выйдет, потому что там духи людей забирают! Повар, Вануйто! Из Уфы!

– Заходите, – сказал Семён. – Холодно.

Они вошли. Дверь осталась приоткрытой. Я не собиралась подслушивать. Я просто стояла у своего балка, через дорогу, и слышала каждое слово, потому что Гайдамак говорил так, как будто стоял на краю буровой при сорокаградусном ветре.

Из его слов я поняла: Руслан Гайдамак – начальник службы безопасности месторождения «Северо-Ямбейское», вахтового посёлка Ямбей-2, в двенадцати километрах к югу от фактории. Компания три года готовит большой проект: двадцать новых скважин, газопровод, компрессорная станция. Полтора миллиарда долларов. И всё это – в тридцати километрах от Седьмой.

– Ты понимаешь, что такое для нас эта яма? – орал Гайдамак. – Это для нас смерть! Каждый раз, когда эти учёные пишут свои статейки, что, мол, мерзлота тает, газ выходит, земля взрывается, – мне звонят инвесторы! Экологи! Прокуратура! «А не опасно ли бурить?» «А не взорвётся ли ваша скважина, как эта воронка?» Савельев этот уже написал одну статью, в августе. Нам чуть финансирование не заморозили! А теперь ещё и труп! Ещё и Сихиртя! Мне эта яма вот где! – он, кажется, ударил себя ладонью по горлу.

– Человека убили, – сказал Семён ровно.

– Да хоть десять! Это ваши, местные, разбирайтесь! Мне нужно одно: чтобы к этой яме больше никто не ездил. Ни учёные, ни журналисты. Закрыть её. Объявить опасной зоной. Оцепить. И пусть всё утихнет.

– Это решает не полиция.

– А кто? Эта рыжая, которую позавчера привезли? – Гайдамак, похоже, кивнул в окно, в мою сторону. – Я её видел. Пусть сидит у Шергина и ест пироги. И в тундру носа не кажет. Я ведь могу и по-плохому. У меня в Ямбее люди есть.

– Это угроза, Гайдамак?

– Это совет, Вануйто. Это совет.

Он вышел из участкового пункта, хлопнув дверью. Увидел меня через дорогу. Остановился. Посмотрел – долго, сверху вниз, как смотрят на что-то, что мешает.

– Вы Сазонова? – крикнул он.

– Я.

– Сидите в посёлке. Это для вашей же пользы. Ваш предшественник не сидел.

Он надел маску, сел на свой чёрный снегоход и умчался, подняв метель. Двое его людей – молчаливых, широких, в одинаковых чёрных пуховиках – умчались следом.

Семён вышел на крыльцо, допил свой чай и посмотрел им вслед.

– Он всегда такой? – спросила я, перейдя через дорогу.

– Всегда, – сказал Семён. – Не обращайте внимания. Он кричит. Кто кричит – тот редко делает.

– У него рыжая борода.

Семён посмотрел на меня.

– У многих рыжая борода, – сказал он.

– Илко видел у старой буровой человека с бородой. Без шапки. Сказал – мёртвый русский. Савельев был рыжий. С бородой. А Гайдамак…

– Гайдамак на Савельева не похож, – сказал Семён. – Савельев был высокий и худой. Гайдамак – как медведь. Но в темноте, издалека… – Он помолчал. – В темноте, издалека, кто угодно на кого угодно похож.

Он ушёл в дом. Я осталась стоять на морозе.

У Шергина в магазине было тепло, тесно и пахло сразу всем: копчёной рыбой, керосином, свежим хлебом, кожей, табаком. Полки до потолка: мука, крупы, консервы, патроны, спички, леска, батарейки, детские куклы в целлофане, шампуни, водка за решёткой с замком. Отдельный угол – скупка: на стене висели связки песцовых шкурок, белых и голубых, на полу стояли мешки с мороженой рыбой. А у окна, на отдельной полке, – сувениры.

Я подошла посмотреть. Маленькие фигурки, вырезанные из кости и дерева: олени, чумы, нарты с упряжками, ненецкие охотники с хореями, белые медведи, моржи, совы. Сделано было удивительно тонко: у каждого оленя различались ветвистые рога, у каждого охотника – складки малицы. Несколько фигурок были из тёмного, почти чёрного дерева с красноватыми прожилками.

– Это что за дерево? – спросила я.

– Лиственница, – сказал Шергин из-за прилавка. – Корень. Его вода выносит на берег, по Оби. Сто лет плывёт, твёрдый становится, как камень. А белые – это кость. Оленья. Рог.

– Это кто делает?

– Я, – сказал Шергин и вдруг смутился, как мальчишка. – Вечерами. Руки занять. Зимой-то длинно.

Я взяла в руки маленького оленя из тёмного корня. Он был тёплым и гладким, как будто живым. Сзади, на подставке, была вырезана буква «Ш».

– Красиво, – сказала я искренне.

– Берите. Подарок. – Шергин махнул рукой. – Первому учёному на новом месте.

Я поблагодарила и положила оленя в карман. За прилавком, на верстаке у окна, лежали инструменты: маленькие стамески, резцы, надфили, наждачная бумага. Стружка, тёмная и светлая, была сметена в аккуратную горку.

– Виктор Степанович, – сказала я. – А вы помните, как Савельев последний раз уезжал? Двадцатого октября?

Шергин перестал протирать прилавок.

– Помню, – сказал он. – Как не помнить. Утром зашёл, купил сигарет, хлеба. Сказал – на воронку съезжу, логгеры проверю. Валентина ему говорила: пурга идёт. А он смеётся. Уехал часов в одиннадцать. Не вернулся. Я к вечеру забеспокоился, а пурга уже началась. Утром, как стихло, поехал с Семёном. Нашли снегоход у края. Шапку внизу, на уступе. Ну, и вызвали МЧС.

– Он один уехал?

– Один.

– А в посёлке тогда кто-нибудь ещё был? Чужие? Приезжие?

Шергин посмотрел на меня поверх очков.

– Чужих у нас не бывает, – сказал он. – Все свои. А что?

– Ничего. Просто спросила. А его одежда? Вы сказали, вещи не все убрали. В балке только тетради.

– Одежду раздали, – сказал Шергин. – Ирина велела. Я мешком отдал Тэтэ, в стойбище. Им всё сгодится.

Он улыбнулся. Улыбка была добродушной, а глаза – нет. Глаза были настороженными, как у песца, которого застали у чужой приманки.

– Вы, Вероника Андреевна, в полицию решили записаться? – сказал он мягко. – Не надо. У нас для этого Семён есть.

Вечером, в три часа, когда стемнело, ко мне пришёл Марат с ноутбуком. Он сел за мой стол, отодвинул в сторону тетради Савельева и открыл трёхмерную модель Седьмой. На экране, медленно поворачиваясь, висела в пустоте серая чаша – воронка, разрезанная пополам, с отвесными стенками, уступами и чёрным пятном воды на дне.

– Это по съёмке двадцать восьмого августа, – сказал Марат. – Тысяча двести снимков с дрона. Точность до трёх сантиметров. Смотрите – здесь западная стенка, здесь восточная. Вот уступы. Вот на этом, на пятнадцати метрах, нашли его шапку. В октябре. – Он показал курсором на узкий карниз. – Видите, как близко к краю? Он, наверное, подошёл посмотреть и обрушил кромку.

– Марат, – сказала я. – А вы не замечали в августе, что Савельев странно себя вёл? На западной стенке?

Марат подумал.

– Замечал, – сказал он. – Он там один работал. На верёвках. Спускался метров на двенадцать–пятнадцать, долбил что-то, брал пробы. Никого не подпускал. Даже аспиранта своего, Лёшу. Говорил: обвалоопасно, опасно, всем назад. А сам висел там часами. Я ещё пошутил, что он клад нашёл. А он так на меня посмотрел, что я больше не шутил. – Марат пожал плечами. – Учёные – они все странные. Извините.

– Ничего, – сказала я. – Я тоже странная.

Он показал мне ещё снимки: стенки крупным планом, срезы мёрзлого грунта, линзы льда, блестящие, как стекло. На одном снимке, на западной стенке, на глубине около тринадцати метров, я увидела в серой глине бурые продолговатые пятна. Три. Изогнутые. Как будто из стенки торчали обломки толстых корней.

– Это что?

Марат увеличил.

– Не знаю. Корни, может? Деревья же тут когда-то росли, Савельев говорил. Тридцать тысяч лет назад.

– Может быть, – сказала я.

Я попросила его скинуть мне все снимки западной стенки. Он скинул и ушёл, пообещав, что завтра, если будет погода, поднимет дрон над воронкой ещё раз, «посмотреть, как она изменилась с лета». Я осталась одна. Увеличила снимок. Бурые изогнутые пятна в серой глине. Толстые, сантиметров по двадцать в поперечнике. Корней такой толщины в тундре не было даже тридцать тысяч лет назад.

«Включ. – орг., кост.?»

Я позвонила в Тюмень по спутниковому телефону, который Шергин дал мне на вечер. Сначала директору. Борис Ефимович выслушал про Илко, про следы, долго молчал в трубку, потом сказал: «Сазонова, сиди в посёлке. Никаких поездок без полиции. Если что – вывозим тебя первым бортом». Я сказала: «Хорошо». Мы оба знали, что я вру.

Потом я набрала номер, который нашла в институтском справочнике. Ирина Савельева ответила после седьмого гудка. Голос был усталым и холодным, как будто я звонила из налоговой.

– Да. Это я. Вы откуда?

Я объяснила. Сказала, что живу в его комнате. Что его вещи здесь. Тетради. Что я могу их привезти.

– Не надо, – сказала Ирина. – Выбросьте.

– Ирина…

– Послушайте, – сказала она. – Я знаю, что о мёртвых плохо не говорят. Но мы с Игорем разводились. Он мне должен был шесть миллионов. Кредиты. На его имя, но платить теперь мне, потому что квартира общая. Он проигрывал деньги в интернете. В покер. Три года. Я узнала полгода назад. Он клялся, что всё отдаст. Что у него есть план. Что скоро у него будут деньги. Много. Он всегда так говорил. – Она помолчала. – А потом поехал в свою тундру и упал в яму. И теперь у меня его долги, а страховку мне не дают, пока не найдут тело. Так что не надо мне его тетрадей. Простите.

Она положила трубку.

Я долго сидела, держа в руках спутниковый телефон. «Скоро у него будут деньги. Много».

Вечером я отнесла телефон Шергиным. Валентина Михайловна усадила меня пить чай с вареньем из морошки. Шергина не было: «на складе». Валентина была непривычно тихой, всё время поглядывала в окно и на часы. Я спросила её про Савельева – как он жил, что делал, с кем дружил. Она вздохнула.

– Да с кем тут дружить. С Витей моим разговаривал. С Андреем, лётчиком, когда тот прилетал. Сидели тут втроём, на кухне, байки травили. А так – всё один. Ходил в своей рыжей парке, как апельсин. У него их две было, парки. Обе рыжие, институтские. Одна новая, другая старая, драная. Он мне старую предлагал на тряпки, я не взяла: что я, из неё половики вязать буду?

– Две, – повторила я. – А где старая?

– В балке, наверное. Где ж ещё. Он в новой уехал тогда. В новой его и… – Она махнула рукой и не договорила.

Я вернулась в свой балок. Открыла шкаф. Там висела моя пуховка, мой анорак, мои свитера. Савельевских вещей не было. «Я мешком отдал Тэтэ», – сказал сегодня Шергин. Но я помнила, как вчера в стойбище Тэтэ и другие мужчины были одеты в малицы. В малицы. Не в институтские оранжевые парки.

Наверное, я просто устала. Наверное, Тэтэ отдал парку кому-то ещё. Наверное, она лежит в каком-нибудь чуме на дне сундука.

Я легла спать. Но долго смотрела в темноту, где за стенкой, за восемнадцатью километрами тундры, лежала Седьмая со своими уступами, карнизами и бурыми изогнутыми «корнями» в стенке на тринадцатиметровой глубине.

Я-хора. Земляной олень.

И где-то там – вторая рыжая парка.

Глава 6

Следователь прилетел в четверг, в половине первого, тем же бортом Пушкарёва. Майор юстиции Тарасов Григорий Петрович, – представился он, и сразу было видно, что он из тех людей, которые запоминают имена всех, кроме тех, кто им не нужен. Лет пятидесяти, грузный, с мешками под глазами и в пальто, совершенно не подходящем для тундры. Пальто было тёмно-серым, драповым, городским. Он вылез из вертолёта, ступил в сугроб по колено и выругался так, что Пушкарёв за его спиной уважительно присвистнул.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.